

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Фридрих фон Хайек

В восемнадцатом и в начале девятнадцатого века изучение экономических и социальных явлений шло медленно и выбор методов диктовался прежде всего самой природой встающих перед исследователями проблем.¹ Приемы, подходящие для их изучения, совершенствовались постепенно, без особой рефлексии по поводу характера применяемых методов и их соотношения с методами других дисциплин. Занимавшиеся политической экономией могли описывать ее как отрасль либо науки, либо нравственной или социальной философии, нимало не заботясь о том, является ли их предмет научным или философским. Термину «наука» еще не придавали такого узкого значения, как сегодня,² не существовало и того различия, благодаря которому выделились и удостоились особой чести естественные науки или науки о природе. Когда исследователям, посвятившим себя этим отраслям знания, приходилось касаться более общих аспектов изучаемых проблем, они охотно определяли свой предмет как «философский»;³ а иногда мы даже встречаем словосочетание «естественная философия» в противопоставлении «моральным наукам».

Новое отношение к науке начинает складываться в первой половине девятнадцатого века. Все чаще и чаще термин «наука» стали употреблять, имея в виду только физические и биологические дисциплины, и в это же время они, как особо точные и достоверные, начали претендовать на место, выделяющее их среди всех остальных. Вскоре чувство восхищения перед их поразительными успехами заставило тех, кто работали в иных областях, начать активно перенимать их доктрины и терминологию. Тогда-то и возникла тирания Научных,⁴ в узком смысле слова, методов и приемов над прочими дисциплинами. Последние принялись усиленно отстаивать свое равноправие, демонстрируя, что у них такие же методы, как и у их блестящих преуспевающих сестер, вместо того, чтобы постепенно вырабатывать методы, отвечающие специфике их собственных проблем. И, хотя стремление слепо подражать Научным методам, а не следовать духу Науки, господствует в общественных исследованиях вот уже около ста двадцати лет, оно едва ли сколько-нибудь продвинуло нас в понимании общественных явлений. Оно продолжает вносить путаницу и способствует дискредитации социальных дисциплин, хотя требования и дальше предпринимать подобного рода попытки все еще преподносятся как самое последнее революционное новшество, способное, если будет принято, быстро повести к невообразимому прогрессу.

Следует, впрочем, сразу же сказать, что те, чьи голоса звучали громче всего, крайне редко оказывались людьми, внесшими заметный вклад в развитие Науки. Начиная с Френсиса Бэкона, лорд-канцлера, который навсегда останется классическим примером «демонстра-
ции от науки», или его оппонентов, например, лорда Остлейда,

ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК НА НАУКИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Фридрих фон Хайек

В восемнадцатом и в начале девятнадцатого века изучение экономических и социальных явлений шло медленно и выбор методов диктовался прежде всего самой природой встающих перед исследователями проблем.¹

Приемы, подходящие для их изучения, совершенствовались постепенно, без особой рефлексии по поводу характера применяемых

методов и их соотношения с методами других дисциплин. Занимавшиеся политической экономией могли описывать ее как отрасль либо науки, либо нравственной или социальной философии, нисколько не заботясь о том, является ли их предмет научным или философским. Термину «наука» еще не придавали такого узкого значения, как сегодня;² не существовало и того различия, благодаря которому выделились и удостоились особой чести естественные науки или науки о природе. Когда исследователям, посвятившим себя этим отраслям

знания, приходилось касаться более общих аспектов изучаемых проблем, они охотно определяли свой предмет как «философский»;³ а иногда мы даже встречаем словосочетание «естественная философия» в противопоставлении «моральным наукам».

Новое отношение к науке начинает складываться в первой половине девятнадцатого века. Все чаще и чаще термин «наука» стали употреблять, имея в виду только физические и биологические дисциплины, и в это же время они, как особо точные и достоверные,

начали претендовать на место, выделяющее их среди всех остальных. Вскоре чувство восхищения перед их поразительными успехами заставило тех, кто работали в иных областях, начать активно перенимать их доктрины и терминологию. Тогда-то и возникла тирания Научных,⁴ в узком смысле слова, методов и приемов над прочими дисциплинами. Последние принялись усиленно отстаивать свое равноправие, демонстрируя, что у них такие же методы, как и у их блестящих преуспевающих сестер, вместо того, чтобы постепенно

вырабатывать методы, отвечающие специфике их собственных проблем. И, хотя стремление слепо подражать Научным методам, а не следовать духу Науки, господствует в общественных исследованиях вот уже около ста двадцати лет, оно едва ли сколько-нибудь продвинуло нас в понимании общественных явлений. Оно продолжает вносить путаницу и способствует дискредитации социальных дисциплин, хотя требования и дальше предпринимать подобного рода попытки все еще преподносятся как самое последнее революционное новшество, способное, если будет принято,

быстро повести к невообразимому прогрессу.

Следует, впрочем, сразу же сказать, что те, чьи голоса звучали громче всего, крайне редко оказывались людьми, внесшими заметный вклад в развитие Науки. Начиная с Френсиса Бэкона, лорд-канцлера, который навсегда останется классическим примером «демагога от науки», как его справедливо назвали, и кончая Огюстом Контом и «физикалистами» наших дней, об исключительных достоинствах специальных методов, используемых естествознанием, заявляли по большей части те, чье

право говорить от имени ученых совсем не бесспорно — то есть люди, на деле много раз проявлявшие в вопросах, касающихся естественных Наук, такую же слепую приверженность предрассудкам, как и при обращении к другим темам. Догматизм, помешавший Френсису Бэкону принять коперниковскую астрономию ⁵ и заставивший Конта утверждать, что всякие попытки слишком скрупулезного исследования явлений с помощью таких инструментов, как микроскоп, пагубны и должны пресекаться духовной властью позитивно организованного общества,

поскольку они способны опрокинуть законы позитивной науки, так часто подводил людей подобного склада в их собственных областях, что у нас не должно быть причин для очень уж большого почтения к их взглядам на проблемы, весьма далекие от сфер, откуда они черпали свое вдохновение.

Существует еще одно обстоятельство, которое читателю нельзя упускать из вида в ходе последующего обсуждения. Методы, которые ученые или те, кто очарованы естественными науками, так часто пытались навязать наукам

общественным, далеко не всегда были теми, какими естествоиспытатели на самом деле пользовались в собственной области — часто они лишь представлялись им таковыми. Это совсем необязательно одно и то же. Ученый, теоретизирующий о применяемых им процедурах и пытающийся их осмыслить, — не всегда надежный проводник. На протяжении жизни нескольких последних поколений взгляды на Научный метод неоднократно менялись под влиянием интеллектуальной моды, хотя нельзя не признать, что методы, которые использовались на деле,

остались по существу теми же. Но, поскольку на общественные науки влияло именно то, какие представления о своей деятельности имели ученые, и даже то, каких взглядов они придерживались когда-то в прошлом, наши последующие соображения, касающиеся методов естествознания, также обязательно будут содержать точную оценку того, что фактически делается учеными; речь скорее пойдет о господствовавших в последнее время взглядах на природу научного метода.

История этого влияния, каналы его распространения и обусловленное

им направление социальных изменений — все это будет предметом для серии наших исторических этюдов, введением к которой призван послужить настоящий очерк. Прежде, чем проследить, как исторически складывалось это влияние и какие имело последствия, мы попытаемся дать здесь его общую характеристику и раскрыть природу проблем, порожденных злополучным и неправомерным распространением способов мышления, сложившихся в физике и биологии. Существует ряд характерных элементов такой позиции; с ними мы будем

сталкиваться вновь и вновь, и из-за их *prima facie** убедительности следует рассмотреть их с особым вниманием. На отдельных исторических примерах не всегда удастся показать, как связаны с естественнонаучным образом мышления или чем обязаны ему типичные представления такого рода, тогда как систематическое обозрение облегчает подобную задачу.

Вряд ли нужно подчеркивать, что мы не намерены говорить ничего направленного против применения Научных методов в собственно Научной сфере и не хотели бы

возбудить ни малейшего сомнения в их ценности. Тем не менее, чтобы предотвратить какие бы то ни было недоразумения, всякий раз, когда речь будет идти не о духе беспристрастного исследования как таковом, а о рабском подражании языку и методам Науки, мы будем говорить о *сциентизме* и о *сциентистских* предрассудках. Слова «сциентизм» и «сциентистский» уже достаточно привычны для английского языка,⁶ хотя на деле заимствованы из французского, причем в последние годы они начали все больше приобретать в нем примерно тот же смысл, какой будем

придавать им мы. ⁷ Следует заметить, что мы будем употреблять эти термины для обозначения позиции, в буквальном смысле слова, конечно же, ненаучной, подразумевающей механический и некритичный перенос определенного образа мышления, сложившегося в одной области, в совершенно другие. В отличие от научного, сциентистский взгляд не является непредубежденным, напротив, это очень предубежденный подход, который еще до рассмотрения своего предмета претендует на точное знание того, каким способом его исследовать. ⁸

Было бы удобно иметь столь же подходящий термин для обозначения мыслительной установки, характерной для профессиональных инженеров, которая, будучи во многом весьма сродни сциентизму, все-таки отличается от него. Но мы собираемся рассматривать ее здесь в связи со сциентистской и, не имея в своем распоряжении одного столь же выразительного слова, будем вынуждены называть этот второй столь характерный для мышления XIX—XX веков элемент «инженерным складом ума».

Предмет и метод естественных наук

Прежде чем мы сможем понять причины вторжения сциентизма в сферу общественных наук, нам следует попытаться понять, какую борьбу самой Науке пришлось вести против представлений и идей, так же мешавших ее прогрессу, как теперь угрожают помешать прогрессу общественных наук сциентистские предрассудки. Хотя сегодня мы живем в атмосфере, при которой Научное мышление весьма заметно влияет на обыденные представления и на привычный ход мысли, нужно

помнить, что в начале своего пути Науки должны были пробивать себе дорогу в мире, где основой для наших представлений служили по большей части наши отношения с другими людьми и истолкование их поступков. Вполне естественно, что в процессе этой борьбы Наука, развив скорость, могла зайти слишком далеко и создать нынешнюю ситуацию, когда опасным стало, наоборот, господство сциентизма, мешающего прогрессу в познании общества.¹ Но даже при том, что ныне маятник совершенно явно качнулся в обратную сторону, мы только запутаемся, если не

сможем разобраться с теми факторами, которые породили подобную установку и которые делают ее правомерной в собственно Научной сфере.

На пути становления современной Науки было три главных препятствия, с которыми она боролась с самого своего рождения в эпоху Ренессанса, и почти вся история ее развития есть история их последовательного преодоления. Первое, хотя и не главное, заключалось в том, что по ряду причин в ученой среде укоренилось обыкновение посвящать самую

значительную часть усилий анализу чужих взглядов — и не только потому, что в наиболее развитых тогда дисциплинах, таких как богословие и юриспруденция, это и было предметом исследования, но больше даже потому, что во времена упадка Науки в Средние века, пожалуй, и не существовало лучшего способа постижения природы, чем изучение работ великих людей прошлого. Более важным было другое — вера, что “идеи” вещей обладают некой трансцендентальной реальностью и что, анализируя идеи, мы можем узнать нечто, если не все, о свойствах реальных вещей.

Последняя и, возможно, главная трудность состояла в том, что человек приступал к составлению понятий о любых событиях внешнего мира, исходя из собственного образа, как если бы все было наделено душою и умом, подобными его собственным. Из-за этого естественные науки постоянно сталкивались с объяснениями, построенными по аналогии с работой человеческого ума, с “антропоморфными”, или “анимистическими”, теориями, везде искавшими следы целенаправленного замысла и видевшими в них подтверждение

деятельности творящего разума.

Новая Наука, сопротивляясь всему этому, упорно хотела заниматься “объективными фактами” — прекратив изучение того, что думают о природе люди, и освободившись от отношения к уже имеющимся представлениям как к истинным образам реального мира. Она считала своим первейшим долгом опровергать любые теории, которые претендовали на объяснение явлений, приписывая их действию направляющего разума, похожего на наш собственный. Вместо этого ее главной задачей стал пересмотр

возникающих из нашего
повседневного опыта представлений
и их перестройка на основе
систематической проверки явлений
— с тем, чтобы уметь лучше видеть в
частном проявление той или иной
общей закономерности. Этот
процесс привел к отказу не только от
предварительной классификации,
опирающейся на обыденные
представления, но и от тех
первичных разграничений между
различными объектами, которые
фиксируются нашими органами
чувств, и к их замене на совершенно
иной, новый способ упорядочения,
или классификации, событий

внешнего мира.

Как самое крайнее проявление тенденции к устранению из картины внешнего мира любых антропоморфных элементов, возникло даже мнение, что требование “объяснения” само по себе основано на антропоморфной интерпретации событий и что единственное, к чему должна стремиться Наука, — это исчерпывающее описание природы.² Как мы увидим, в первой части этого утверждения есть доля истины: ведь мы можем понимать и объяснять человеческую деятельность так, как

было бы невозможно в случае физических явлений, и поэтому термин “объяснять” продолжает нести смысловую нагрузку, недопустимую, когда речь идет о таких явлениях.³ Действия других людей явились, по-видимому, тем опытом, который заставил впервые задать вопрос “почему?”, и, хотя у человека было много времени для поисков ответа, он до сих пор не вполне понял,⁴ что событиям, не связанным с человеческими действиями, нельзя давать “объяснений” того же рода, как те, которые могут его устроить, когда речь идет о человеческом поведении.

Хорошо известно, что обыденные представления не обеспечивают адекватной классификации окружающих нас вещей, из-за чего мы не имеем возможности установить общие правила их поведения при различных обстоятельствах, — подобная задача требует замены таких представлений иной классификацией событий. Удивительной, однако, может показаться мысль, что то, что справедливо для такого рода предварительных абстракций, в равной мере справедливо и для тех самых ощущений, которые многие из

нас склонны считать конечной реальностью. Хотя и непривычно видеть Науку разрушающей и меняющей систему классификации, опирающуюся на воспринимаемые нами чувственные признаки, она занимается как раз этим. Наука начинается с уяснения того, что вещи, с нашей точки зрения одинаковые, не всегда ведут себя сходным образом, а вещи, по виду разные, иногда, как оказывается, во всем остальном ведут себя одинаково. Исходя из этого опыта, Наука упраздняет классификацию событий, которую предлагают нам наши чувства, и заменяет ее новой,

которая группирует вместе не то, что выглядит похоже, а то, что ведет себя одинаково в сходных условиях.

Хотя наивному уму свойственно предполагать, что внешние события, которые регистрируются нашими чувствами как одинаковые либо как разные, должны быть похожими либо различающимися не только в том, как они воздействуют на наши чувства, но и во многом другом, систематическая Научная проверка показывает, что это далеко не всегда так. Наука то и дело показывает: “факты” не равнозначны “внешним проявлениям”. Мы научаемся считать

одинаковым или отличающимся не просто то, что одинаково или отличается по виду, запаху, на ощупь и т. д., но то, что регулярно встречается в одном и том же пространственном и временном контексте. И мы узнаем, что причиной одного и того же сочетания одновременно возникающих перцептов могут служить разные “факты” и что за разными комбинациями ощущений может стоять один и тот же “факт”. Белый порошок, обладающий определенным весом и “фактурой”, не имеющий ни вкуса, ни запаха, может оказаться чем угодно из

целого ряда различных веществ — в зависимости от того, при каких условиях или в результате какой последовательности событий он получается или что возникает при его взаимодействии с другими веществами. Словом, систематическое наблюдение за поведением объектов в разных условиях часто показывает, что вещи, представлявшие нашим чувствам разными, могут вести себя одинаково или, по меньшей мере, весьма похоже. Мы не только можем обнаружить, что при некоем освещении или после приема некоего препарата предмет, при

других обстоятельствах казавшийся зеленым, выглядит, скажем, как голубой, либо увидеть овальную форму того, что под другим углом зрения казалось круглым, но обнаруживаем также, что явления, с виду столь разные, как вода и лед, “на самом деле” представляют собой одну и ту же “вещь”.

Вот этот процесс реклассификации “объектов”, уже как-то классифицированных нашими чувствами, эта замена системы “вторичных” качеств, основанной на сигналах, получаемых нашими чувствами извне, на новую

классификацию, опирающуюся на сознательно устанавливаемые отношения между классами изучаемых явлений, возможно, и есть самый характерный аспект естественнонаучного метода. Вся история новой Науки — это свидетельство прогресса в деле освобождения от естественной для нас классификации внешних сигналов вплоть до полного упразднения последних: “ ... нынешняя стадия развития естественных наук такова, что стало невозможным говорить о наблюдаемом на языке, подходящем для чувственно воспринимаемого.

Единственно пригодный для них язык — это язык математики”⁵ — то есть дисциплины, созданной, чтобы описывать комплексы отношений между элементами, лишенными каких бы то ни было атрибутов помимо самих этих отношений. Если на первых порах новые элементы, с помощью которых “анализировался” физический мир, еще обладали “качествами”, то есть мыслились как принципиально видимые или осязаемые, то ни электроны, ни волны, ни атомная структура, ни электромагнитные поля уже не могут быть адекватно представлены с помощью

механических моделей.

Создаваемый в человеческом уме
новый мир, состоящий
исключительно из сущностей,
недоступных нашему чувственному
восприятию, тем не менее связан
определенным образом с миром
наших чувств. На деле он и нужен,
чтобы объяснять мир наших чувств.
Фактически мир Науки можно
считать просто сводом правил,
позволяющих нам обнаруживать
связи между различными
комплексами чувственных
восприятий. Но получалось, что
попытки установить единообразные

правила, которым подчиняются
воспринимаемые нами явления,
оставались неудачными до тех пор,
пока мы принимали за
“естественные единицы”, за “данные
сущности” устойчивые комплексы
чувственных качеств,
воспринимаемых нами
одновременно. Вместо них Наука
создает новые сущности,
“конструкты”, которые могут быть
определены только в терминах
чувственных восприятий,
получаемых от “того же” объекта при
других обстоятельствах и в другое
время, — процедура, исходящая из
постулата, что данный объект

остается в определенном смысле тем же самым даже при изменении всех его чувственно воспринимаемых признаков.

Иными словами, хотя естественнонаучные теории на достигнутой ими сегодня стадии развития уже не могут формулироваться в терминах чувственных качеств, их значимость связана с тем, что мы получаем “ключ”, правила, позволяющие нам переводить их в высказывания о поддающихся восприятию явлениях. Соотношение между современной естественнонаучной теорией и

миром наших ощущений можно было бы сравнить с тем, как соотносятся между собой разные стадии “постижения” мертвого языка, существующего лишь в виде надписей, выполненных особыми значками. Сочетания различных символов, из которых состоят эти надписи и которые являются единственной формой бытия такого языка, подобны различным комбинациям чувственных качеств. Постигая язык, мы постепенно узнаем, что разные сочетания символов могут значить одно и то же и что в разных контекстах одна и та же группа символов может иметь

разное значение. ⁶ Научаясь
распознавать эти новые сущности,
мы проникаем в новый мир, в
котором элементарными единицами
оказываются не буквы и
взаимоотношения между этими
единицами подчиняются
определенным законам, не
выводимым из порядка чередования
отдельных букв. Мы можем описать
законы, которым подчиняются эти
новые единицы, — законы
грамматики и все, что может быть
выражено сочетаниями слов по этим
законам, ни разу не сославшись при
этом на отдельные буквы или на
принцип их соединения в знаки, то

есть в целые слова. Можно, к примеру, знать все о грамматике китайского или греческого языка, знать значения всех слов в этих языках, не зная ни греческих букв, ни китайских иероглифов (или того, как произносятся греческие или китайские слова). Однако, если бы китайский (или греческий) язык существовал исключительно в записи соответствующими символами, все эти сведения были бы так же мало полезны, как и сведения о законах природы в терминах абстрактных сущностей, или конструкторов, без знания правил перевода последних в высказывания о явлениях, доступных

нашим чувствам.

Как при нашем описании языковых структур нет необходимости в описании того, как те или иные сочетания букв (или звуков) складываются в различные единицы, так и в нашем теоретическом описании физического мира отсутствуют различные чувственные качества, через которые мы воспринимаем этот мир. Мы перестаем считать эти качества частью объекта и начинаем рассматривать их просто как способ спонтанного восприятия, или спонтанной классификации,

внешних сигналов. ⁷

Вопрос, почему человек классифицирует внешние сигналы именно таким, основанным на чувственно воспринимаемых качествах, способом, нас здесь не интересует. ⁸ Есть только два связанных с этим момента, о которых надо кратко упомянуть теперь и к которым нам предстоит вернуться позже. Во-первых, раз уж мы усвоили, что единообразие во взаимодействии объектов внешнего мира обнаруживается только, если сгруппировать их не так, как они предстают перед нашими органами

чувств, то возникает настоящая проблема: почему они

представляются нам именно таким, а не иным образом, и особенно — почему они кажутся одинаковыми⁹ разным людям? Во-вторых, тот факт, что разными людьми разные вещи воспринимаются все-таки сходным, но не соответствующим никакому известному соотношению между этими вещами во внешнем мире, образом, должен рассматриваться как данный в опыте и весьма существенный: именно от него мы должны отталкиваться при всяком объяснении человеческого

поведения.

Нас не будут интересовать методы Науки сами по себе, и мы не можем углубляться в этот предмет. Нам хотелось подчеркнуть главное: то, что люди знают или думают либо о внешнем мире, либо о себе, их представления и даже субъективные особенности их чувственного восприятия, для Науки никогда не являются конечной реальностью, данными, из которых ей надлежит исходить. Науку занимает не то, что думают люди о мире, и не то, как они в связи с этим себя ведут, а то, что им следовало бы думать.

Представления, которыми люди руководствуются в практической жизни, их понимание природы — для ученого не более, чем предварительная ступень, и его задача — изменить эту картину мира, изменить обиходные представления так, чтобы наши утверждения о новых классах событий могли стать более четкими и определенными.

Об одном проистекающем отсюда следствии необходимо сказать несколько слов, учитывая его важность для дальнейшего обсуждения. Речь о том особом

значении, которое имеют для естественных наук числовые выражения и количественные измерения. Многим представляется, что главный смысл этой количественной природы большинства естественных наук состоит в их большей точности. Это не так. Дело не только в том, чтобы повысить точность процедур (что возможно и без использования математической формы выражения), дело в самой сути процесса расщепления наших непосредственных чувственных данных и в замене описания в терминах чувственных качеств на

описание в терминах элементов, не обладающих никакими иными атрибутами помимо отношений между самими этими элементами. Это — неотъемлемая составная часть общего стремления отойти от имеющейся сегодня у человека картины мира, заменить классификацию событий, основанную на наших ощущениях, на другую, опирающуюся на отношения, устанавливаемые в результате систематических проверок и экспериментов.

Вернемся теперь к нашему более общему выводу: мир, интересующий

Науку, не есть мир наших представлений или даже чувств. Цель Науки — по-новому организовать весь наш опыт взаимодействия с внешним миром, и для этого она должна не только перемоделировать наши представления, но также отказаться от чувственных качеств и заменить их иной классификацией событий. Картина мира, составленная человеком на практике и позволяющая ему достаточно хорошо ориентироваться в повседневной жизни, его представления и понятия являются для Науки не предметом изучения, а несовершенным

инструментом, который предстоит улучшить. Науку как таковую не интересуют ни отношения человека с внешним миром, ни то, к каким действиям побуждает человека сложившийся у него взгляд на мир. Скорее, она и *есть* такое отношение, или, точнее, непрерывный процесс изменения такого отношения. Когда ученый подчеркивает, что он исследует объективные факты, это означает, что он пытается исследовать явления независимо от мыслей или действий людей по их поводу. В любом случае воззрения людей на внешний мир — это для него стадия, которую надлежит

преодолеть.

Но что следует из того факта, что люди воспринимают мир и друг друга через ощущения и представления, организованные в ментальную структуру, общую для них всех? Что можно сказать о системе всей человеческой деятельности, в ходе которой люди руководствуются доступными им знаниями, причем в любой момент времени весьма значительная часть этих знаний оказывается общей для большинства людей? Хотя Наука постоянно занята пересмотром имеющейся у человека картины

внешнего мира и хотя с ее точки зрения эта картина не может не быть всего лишь предварительной, тот факт, что у человека есть отчетливая картина мира и что она в известном смысле одна и та же у всех, кого мы считаем разумными существами и кого в состоянии понять, имеет огромное значение и влечет за собой определенные следствия. Пока Наука не завершит (в буквальном смысле) свою работу и не объяснит все до единого протекающие в человеке интеллектуальные процессы, происходящее в нашем уме должно оставаться не только данностью, ждущей объяснения, но также и

данностью, на которую должно опираться объяснение человеческой деятельности, направляемой этими ментальными феноменами. Отсюда берется новый комплекс проблем, которыми представители Науки непосредственно не занимаются. И вряд ли можно надеяться, что привычные для них специфические методы подойдут для решения этих проблем. Вопрос здесь не в том, насколько похожа на правду созданная человеком картина внешнего мира, а в том, как человек, действуя в соответствии со своими воззрениями и понятиями, выстраивает другой мир, частью

которого он сам становится. При этом под “человеческими воззрениями и понятиями” мы подразумеваем не только знания об окружающем мире. Мы подразумеваем все знания и представления людей о самих себе, о других людях и о внешнем мире, короче — все то, чем обусловлена их деятельность, в том числе и сама *наука*.

Это та область, к которой обращаются социальные исследования, или “моральные науки”.

Объективизм сциентистского подхода

Из-за огромной разницы между методами, характерными для физических наук и наук социальных, ученый-естествоиспытатель, обратившийся к тому, что делают профессиональные исследователи общественных явлений, зачастую обнаруживает, что попал в компанию людей, привыкших совершать все смертные грехи, которых он изо всех сил старается избегать, и что науки об обществе, соответствующей его

стандартам, до сих пор не существует. От этого до попытки создать новую науку об обществе, которая отвечала бы его пониманию Науки, всего один шаг. На протяжении последних четырех поколений такого рода попытки предпринимались постоянно, и, хотя они так и не принесли ожидаемых результатов и даже не создали традиции преемственности, показательной для всех жизнеспособных дисциплин, те, кто все еще надеются революционизировать общественную мысль, повторяют такие попытки чуть ли не каждый месяц. Пусть эти

усилия чаще всего никак не связаны, в них все же заметна определенная регулярность, и теперь нам следует рассмотреть ряд их особенностей. Условимся называть эти методологические особенности “объективизмом”, “коллективизмом” и “историцизмом”, противопоставляя им “субъективизм”, “индивидуализм” и теоретический характер сложившихся общественных дисциплин.

То, что за неимением лучшего термина, мы будем называть “объективизмом” сциентистского

подхода к изучению человека и общества, находит самое характерное отражение в разного рода попытках обойтись без наших субъективных знаний о работе человеческого ума, попытках, которые в той или иной форме воздействовали на почти все направления социальных исследований. Начиная с Огюста Конта, отрицавшего возможность интроспекции, через всевозможные попытки создать “объективную психологию” и кончая бихевиоризмом Дж. Уотсона и “физикализмом” О. Нейрата, многие и многие авторы пытались обходиться без привлечения знаний

“интроспективного” характера. Однако любые попытки избежать использования имеющегося у нас знания обречены на неудачу, и показать это совсем нетрудно.

Чтобы быть последовательным, бихевиорист или физикалист не должен исходить из наблюдений за реакциями людей на объекты, которые определяют как одинаковые наши чувства; ему следовало бы ограничиться изучением реакций на сигналы, тождественные в строго физическом смысле. Например, ему бы следовало изучать не реакции людей, которым видится красный

кружок или слышится определенный звук, а исключительно действие световой волны, имеющей определенную частоту, на тот или иной участок сетчатки человеческого глаза и т. д., и т. п. Однако ни один бихевиорист об этом всерьез не помышляет. Все они наивно считают само собой разумеющимся, что то, что кажется одинаковым им самим, будет казаться одинаковым и другим людям. Они, хоть их ничто и не заставляет так поступать, постоянно используют осуществляемую нашими чувствами и нашим умом классификацию внешних сигналов на одинаковые и неодинаковые, то

есть классификацию, которая известна нам только из нашего личного опыта и не обоснована никакими объективными тестами, подтверждающими, что эти вещи ведут себя одинаково по отношению друг к другу тоже. Это относится не только к тому, что мы привыкли считать простыми чувственными качествами, то есть к цвету, высоте звука, запаху и т. п., но и к нашему восприятию конфигураций (Gestalten), которые помогают нам классифицировать весьма разные в физическом смысле вещи как обладающие общей “формой”, будь то круг или определенный тембр.

Бихевиористу или физикалисту факт, что мы опознаем эти вещи как подобные, не представляется проблемой.

Между тем, развитие самой физической науки, как мы уже знаем, не дает ни малейших оснований для такого наивного подхода. Мы уже видели ранее, что одним из главных результатов этого развития явилось понимание: вещи, кажущиеся нам одинаковыми, в объективном смысле могут вовсе не быть таковыми, то есть могут не иметь ничего общего, кроме свойства казаться нам одинаковыми. Раз уж мы должны

были признать, что вещи, неодинаково действующие на наши чувства, не обязательно будут в точности таким же неодинаковым образом вести себя по отношению друг к другу, у нас не остается права считать само собой разумеющимся, что все, кажущееся разным или одинаковым нам, будет казаться таким же и другим. То, что, как правило, бывает именно так, есть важный эмпирический факт, который, с одной стороны, нуждается в объяснении (это задача психологии), а, с другой стороны, должен приниматься как исходная данность при изучении

человеческого поведения. То, что разные объекты для разных людей значат одно и то же и что разные люди, совершая различные действия, имеют в виду одно и то же, остается важным фактом, хотя физика может показать, что эти объекты или действия не имеют никаких других общих свойств.

Мы не знаем о происходящем в умах других людей ничего, кроме известного нам через чувственное восприятие, то есть через наблюдение физических фактов, — это, конечно, правда. Но из этого не следует, что мы не знаем ничего,

кроме физических фактов. С какого рода фактами должна иметь дело та или иная дисциплина, обусловлено не всеми свойствами изучаемых ею объектов, а только теми, по которым объекты классифицируются с точки зрения задач данной дисциплины. Сошлемся на пример из физики: все рычаги и маятники, какие мы только можем представить, имеют химические и оптические свойства; но, говоря о рычагах и маятниках, мы не говорим о химических или оптических фактах. Некий набор отдельных явлений превращается в подборку фактов одного рода благодаря тому, что мы выделяем

признаки, в соответствии с которыми и рассматриваем эти явления как принадлежащие к одному классу. Также, хотя все общественные явления, которыми могут заниматься социальные науки, наделены физическими свойствами, это не значит, что с точки зрения наших задач они должны рассматриваться как физические явления.

Существенный момент, касающийся объектов человеческой деятельности, рассматриваемых социальными науками, и самой этой деятельности, заключается в том, что, интерпретируя человеческие

действия, мы спонтанно и неосознанно относим к одному классу объектов или действий многие физические факты, у которых может не быть никаких общих физических свойств. Мы знаем, что другие люди, подобно нам самим, считают какой-нибудь из множества физически различных объектов: a , b , c , d и т. д. — принадлежащим к такому-то классу, и знаем это потому, что другие люди, подобно нам самим, реагируют на какую-нибудь из этих вещей каким-нибудь из действий: α , β , γ , d ... — у которых опять-таки может не быть никаких общих физических характеристик.

Тем не менее это знание, постоянно опираясь на которое, мы действуем и которое обязательно предшествует (и является условием) всякой коммуникации с другими людьми, не есть сознательное знание — ведь мы не можем составить исчерпывающий список тех различных физических явлений, которые мы без колебаний относим к одному классу: мы не знаем, в каких из множества возможных комбинаций физических свойств мы будем распознавать то или иное слово, “приветливую улыбку” или “угрожающий жест”. По-видимому, в экспериментальных исследованиях еще ни разу не

удалось точно определить круг различных явлений, которые для всех людей безусловно означают одно и то же; тем не менее мы постоянно и успешно действуем, исходя из предположения, что мы классифицируем эти вещи точно так же, как другие люди. Мы не в состоянии — и, может быть, никогда не будем в состоянии — заменить ментальные категории, помогающие нам истолковывать действия других людей, объектами, специфицированными в физических терминах. ¹ Если мы все же это делаем, то упоминаемые нами физические факты имеют для нас

значение не как физические факты, то есть не как члены одного класса с определенными общими для всех них физическими свойствами, но как члены класса, в который могут входить вещи, физически совершенно разные, но для нас “означающие” одно и то же.

Здесь необходимо в явном виде сформулировать соображение, неявно присутствовавшее во всех наших рассуждениях на эту тему, соображение, которое, хотя оно вроде бы вытекает из современного представления о природе физического исследования, все же до

сих пор является чем-то непривычным. Вот оно: не только те ментальные сущности, которые принято считать “абстракциями” (такие, как “представления” или “идеи”), но *все* феномены сознания — чувственные восприятия и образы, так же как более абстрактные “представления” и “идеи”, — следует считать актами выполняемой мозгом классификации.² Это, конечно, не более, чем иной способ сказать, что воспринимаемые нами качества не являются свойствами объектов, а представляют собой способы, которыми мы (каждый индивидуум или весь род) научились

группировать, или классифицировать, внешние сигналы. Воспринять значит отнести к известной категории (или категориям): мы не могли бы воспринять нечто, совершенно непохожее ни на один из доселе воспринимавшихся объектов. Это, однако, не означает, что все вещи, которые мы фактически относим к одному классу, должны иметь какие-то общие свойства помимо того, что мы реагируем на эти вещи одинаково. Это вполне обычная, но опасная ошибка — считать, будто те вещи, которые наши чувства или наш ум относят к одному и тому же

классу, должны иметь между собой еще что-то общее сверх того, что они одинаковым образом регистрируются нашим сознанием. Хотя у нас, как правило, бывают определенные основания считать некоторые вещи подобными, это не является необходимым условием. Но, если при изучении природы классификации, не основанные на каком-либо сходстве в поведении объектов по отношению друг к другу, следует считать “обманчивыми” и стараться освободиться от этой обманчивости, то для наших попыток понять человеческие действия они имеют положительное значение. Важное

различие в статусе ментальных категорий в двух этих сферах заключается в следующем. Когда мы изучаем то, что происходит в природе, наши ощущения и мысли не являются звеньями в цепи наблюдаемых событий — это лишь ощущения и мысли по поводу событий. А в общественном механизме они образуют необходимое звено; в обществе силы действуют через эти непосредственно известные нам ментальные сущности: если предметы внешнего мира не ведут себя одинаково или по-разному лишь потому, что они представляются

одинаковыми или разными нам, то уж мы-то ведем себя сходным или различным образом потому, что вещи представляются нам одинаковыми или разными.

Бихевиорист или физикалист, который при изучении поведения человека действительно хотел бы избежать использования категорий, обнаруживающихся в готовом виде в нашем уме, и который пожелал бы ограничиться изучением исключительно реакций человека на объекты, специфицированные в физических терминах, должен, чтобы быть последовательным,

воздерживаться от любых высказываний по поводу человеческих действий до тех пор, пока экспериментально не установит, каким образом наши чувства и наш ум делят внешние сигналы на одинаковые и неодинаковые. Ему пришлось бы начать с вопросов, какие физические объекты и почему кажутся нам одинаковыми, какие и почему — нет, и только после этого всерьез браться за изучение человеческого поведения по отношению к этим вещам.

Важно заметить, что мы не заявляем, будто такая попытка объяснить

принцип, согласно которому наш ум, или наш мозг, трансформирует физические факты в ментальные сущности, безнадежна. Коль скоро мы признаем, что имеет место процесс классификации, нет причин, почему бы нам не научиться понимать его принцип. В конце концов, классификация — это механический процесс, его может выполнять и машина, “сортируя” и группируя объекты в соответствии с их определенными признаками.³

Речь скорее о том, что, во-первых, с точки зрения задачи социальных наук подобное объяснение формирования ментальных сущностей и их

соотнесенности с физическими фактами необязательно и оно ничуть не приблизило бы нас к нашей цели; и, во-вторых, что, хотя такое объяснение представимо, мы не только не имеем его в настоящий момент и, по-видимому, не будем иметь еще очень долго, но маловероятно также, что оно когда-нибудь станет чем-то большим, чем “объяснение принципа”, на котором строится работа этого классификационного аппарата. Судя по всему, всякий аппарат классификации должен всегда быть намного сложнее, чем любой из множества объектов, которые он

классифицирует; и, если это так, значит, наш мозг никогда не сможет дать полное объяснение (в отличие от объяснения просто принципа) отдельных приемов, с помощью которых он сам классифицирует внешние сигналы. Позже нам предстоит рассмотреть связанный с этим парадокс: для того, чтобы “объяснить” наши собственные знания, нам следовало бы знать больше, чем мы уже знаем, — что, конечно, является внутреннее противоречивым утверждением.

Но давайте на минуту предположим, что нам удалось полностью свести

все феномены сознания к физическим процессам. Предположим, что мы постигли механизм, благодаря которому наша центральная нервная система относит какой-нибудь из множества внешних сигналов (элементарных или сложных): $a, b, c, \dots$, или $l, m, n, \dots$, или $r, s, t, \dots$ — к тому или иному четко определенному классу, причем выбор обусловлен тем фактом, что такой-то элемент из некоего класса вызывает у нас такую-то реакцию, относящуюся к соответствующему классу: $\alpha, \beta, \gamma, \dots$, или $\nu, \xi, \omicron, \dots$, или $\varphi, \chi, \psi, \dots$. Такое предположение подразумевает: первое — что эта

система знакома нам не просто потому, что именно так действует наш собственный ум, но и потому, что для нас стали явными все отношения, которыми она определяется, и — второе — что нам известен также и механизм практического осуществления этой классификации. В таком случае мы смогли бы установить строгое соответствие между ментальными сущностями и четко отграниченными группами физических фактов. И тогда у нас появилась бы “единая” наука, что, впрочем, не помогло бы нам подойти к решению специфической задачи

социальных наук ближе, чем теперь. Мы все равно должны были бы использовать прежние категории, хоть и умели бы объяснять, как они формируются, и знали бы, какие за ними стоят физические факты. Мы знали бы, что для объяснения внешних событий больше подходит другой способ систематизации физических фактов, однако, интерпретируя человеческие действия, все равно принуждены были бы пользоваться классификацией, располагающей эти факты соответственно тому, как они представляются умам действующих людей. Дело, стало быть, не в том,

что нам, возможно, придется бесконечно долго ждать, пока мы сможем заменить ментальные категории на физические факты; даже если бы это наконец произошло, мы не оказались бы лучше подготовленными к решению задач, стоящих перед социальными науками.

Следовательно, идея, подразумеваемая как иерархией наук Конта,⁴ так и многими похожими рассуждениями, что социальные науки должны в некотором смысле “опираться” на науки естественные и что надежды на успех в этой области

следует отложить до той поры, пока физические науки продвинулись достаточно, чтобы мы смогли описывать социальные явления в физических терминах, “языком физики”, совершенно ошибочна. Проблема объяснения ментальных процессов через физические не имеет никакого отношения к проблемам социальных наук. Это проблема физиологической психологии. Но независимо от того, удастся ее решить или нет, социальные науки должны отталкиваться от имеющихся ментальных сущностей — объяснено их формирование или нет.

Мы не можем обсуждать здесь все другие формы, в которых проявлялся характерный “объективизм” сциентистского подхода, сделавшийся причиной стольких ошибок в социальных науках. В ходе нашего исторического экскурса мы еще будем сталкиваться с тенденцией искать “реальные” атрибуты объектов человеческой деятельности, скрывающиеся за представлениями человека о них, — тенденцией, выступающей во множестве разных облиций. Здесь же может быть предпринята только попытка краткого обзора.

Почти так же, как всевозможные формы бихевиоризма, важна и тесно связана с ними распространенная тенденция при изучении социальных явлений не обращать внимания ни на какие “просто” качественные моменты, а следуя примеру естественных наук, сосредоточиваться на количественных аспектах, на том, что поддается измерению. Ранее мы уже видели, что в естественных науках такая тенденция есть необходимое следствие, вытекающее из их специфической задачи заменить картину мироздания,

составленную в терминах
чувственных качеств, на такую, в
которой составляющие ее единицы
определялись бы исключительно их
эксплицитными связями. Успех этого
метода в естественнонаучной
области привел к тому, что теперь его
принято считать обязательным
признаком всякой подлинно научной
процедуры. Однако его *raison d'etre**,
сама необходимость заменять
классификацию событий,
составляемую для нас нашими
чувствами и умом, на более
соответствующую, отсутствует, если
мы пытаемся понять другие
человеческие существа и если это

понимание возможно благодаря тому, что наш ум такой же, как у них, и что мы можем реконструировать интересующие нас социальные комплексы, исходя из наших общих с ними ментальных категорий. Слепой перенос тяги к количественным измерениям⁵ в область, где отсутствуют те специфические условия, которые придают исключительную важность измерениям в естественных науках, есть результат ни на чем не основанного предрассудка. Не исключено, что как раз из-за него стали возможны те чудовищные aberrации и нелепости, которые

сциентизм привнес в социальные науки. Он часто заставляет не только останавливать выбор на наименее существенных сторонах изучаемого, потому что в этом случае возможны измерения, но также осуществлять “измерения” или находить числовые значения, не имеющие ровно никакого смысла. То, что недавно написано выдающимся философом о психологии, будет ничуть не менее справедливым и по отношению к социальным наукам: это чрезвычайно просто — “устремитесь в измерение всякой всячины, без рассуждений о том, что именно мы измеряем или для чего эти

измерения нужны. Что касается некоторых недавних измерений, то своей логикой они очень напоминают логику Платона с его вычислением, что справедливый правитель в 729 раз счастливее несправедливого”.⁶

С тенденцией трактовать объекты человеческой деятельности не так, как они представляются действующим людям, а в терминах их “реальных” атрибутов, тесно связан образ некоего сверхразумного исследователя общества, обладающего чуть ли не абсолютным знанием, что освобождает его от

необходимости опираться на знания тех людей, чьи действия он изучает. К наиболее характерным проявлениям этой тенденции относятся всевозможные формы социальной “энергетики”, которая, начиная с ранних попыток Эрнста Сольвея, Вильгельма Оствальда и Ф. Содди и вплоть до наших дней,⁷ постоянно возрождалась в среде ученых и инженеров, как только они обращались к проблемам социальной организации. Идея, лежащая в основе этих теорий, такова: все можно свести к сгусткам энергии, человек, строящий планы, должен не рассматривать всевозможные вещи с

точки зрения их конкретной полезности для его целей (для которых он знает, как их использовать), а считать их взаимозаменяемыми порциями абстрактной энергии, каковыми они “реально” и являются.

Другой пример такой тенденции — пожалуй, не менее нелепый и даже более распространенный — это концепция “объективных” возможностей производства, то есть количественной меры общественного продукта, которая, как полагают, обусловлена физическими возможностями, — идея, которая

часто находит выражение в количественных оценках предполагаемого “производственного потенциала” общества в целом. Эти оценки, как правило, относятся не к тому, что может произвести человек при тех или иных сложившихся организационных формах, а к тому, что в некотором неопределенном “объективном” смысле “могло бы” быть произведено из наличных ресурсов. Подобные притязания по большей части лишены всякого смысла. Они не утверждают, что х или у, или, вообще, какая-либо организация людей могла бы произвести то-то и то-то. Все

сводится к тому, что, *если бы* всем знанием, рассеянным среди многих людей, мог овладеть один-единственный разум, и что, *если бы* этот сверхразум мог побудить всех людей поступать всякий раз так, как он пожелает, то можно было бы достичь таких-то результатов, правда, каких именно, никто, кроме этого сверхразума, знать бы, конечно, не мог. Пожалуй, нет необходимости указывать на то, что всякие рассуждения о “возможностях”, для осуществления которых необходимы такие условия, не имеют никакого отношения к реальности. Никакой абстрактной производительной

способности общества —
независимо от конкретных форм его
организации — не существует.
Единственный факт, который можно
считать данностью, — это что есть
отдельные люди, владеющие
определенными знаниями о том, как
использовать те или иные вещи в
определенных целях. Эти знания не
могут существовать в виде
интегрированного целого или
умещаться в одной голове, и
единственное знание, о котором
можно в каком-то смысле сказать,
что оно действительно существует,
— это те самые разрозненные, часто
не согласующиеся друг с другом, а

порой и противоречащие друг другу, представления разных людей.

Известны и весьма похожие по своему характеру частые заявления об “объективных” потребностях людей, в которых слово “объективный” просто обозначает чье-то мнение о том, чего должны хотеть люди. Нам еще предстоит рассмотреть проявления такого “объективизма” в конце этой части, когда от собственно сциентизма мы перейдем к обсуждению точки зрения, характерной для инженеров, представления которых об “эффективности” стали одной из

самых внушительных сил,
способствовавших переносу
сциентистского подхода на
общественные проблемы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Влияние естественных наук на науки общественные

¹ Это, впрочем, не вполне верно.
Отдельные попытки “научного”
истолкования общественных
явлений, получившие столь большое
распространение во второй половине

XIX в., предпринимались и в XVIII в. По крайней мере, в работах Монтескье и физиократов явственно ощутимы элементы сциентизма. Однако ученых, внесших особенно весомый вклад в развитие общественных наук: Кантильона и Юма, Тюрго и Адама Смита — это совершенно не затронуло.

² Самый ранний пример современного узкого понимания термина “наука” встречается в толковом “Новом словаре английского языка” Мюррея, вышедшем в 1897 г. (*Murray. New English Dictionary. 1897*). Но,

возможно, прав Дж. Т. Мерц (*Mertz J.T. History of European Thought in the Nineteenth Century. 1896. Vol. 1. P. 89*), утверждающий, что слово “наука” приобрело свое современное значение уже к моменту создания Британской ассоциации по развитию науки (1831).

³ См., например: *Dalton J. New System of Chemical Philosophy. 1808; Lamarck. Philosophie zoologique. 1809; Fourcroy. Philosophie chimique. 1806.*

⁴ Слова “Наука”, “Научный” мы будем писать с прописной буквы

езде, где нужно подчеркнуть, что они употребляются в своем “узком”, современном значении.

⁵ См.: *Cohen M. R.*. The Myth about Bacon and the Inductive Method // *Scientific Monthly*. 1926. Vol. 23. P. 505.

⁶ В “Новом словаре английского языка” Мюррея есть и “сциентизм”, и “сциентистский”; первый объясняется как “манера выражаться, свойственная ученым”, второй — как “обладающий внешними признаками научности (имеет

пренебрежительный оттенок)”.
Термины “натуралистический” и
“механистический”, часто
употребляемые в аналогичном
смысле, подходят меньше, поскольку
наводят на ложные
противопоставления.

⁷ См., например: *Fiolle J. Scientisme et science. Paris, 1936; Lalande A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie / 4th ed. Vol. 2. P. 740.*

⁸ Возможно, следующее
высказывание выдающегося физика
поможет показать, как сильно

страдают сами ученые-
естествоиспытатели от тех же
установок, из-за которых их влияние
на другие науки приобрело столь
губительный характер: “Трудно
представить себе что-нибудь, более
пронизанное научным фанатизмом,
чем постулат, будто весь возможный
опыт должен непременно
укладываться в уже привычные
рамки, и вытекающее из этого
требование, чтобы все объяснялось
исключительно с помощью
известных нам из повседневного
опыта элементов. Подобная
установка указывает на отсутствие
воображения, тупость и умственную

лень, и, если, исходя из прагматических соображений, ее и можно признать правомерной, то только для низших форм умственной деятельности” (*Bridgman P. W. The Logic of Modern Physics. 1928. P. 46*).

**Prima facie* (лат.) — на первый взгляд. (Здесь и далее сноски, отмеченные звездочками, сделаны переводчиком или редактором.)

2. Предмет и метод естественных наук

¹ О значении этого “закона инерции” в научной области и его

последствиях для общественных дисциплин см.: *Münsterberg H.* Grundzüge der Psychologie. 1909. Vol. I. P. 137; *Bernheim E.* Lehrbuch der historischen Methode und Geschichtsphilosophie / 5th ed. 1908. P. 144; *Mises L. v.* Nationalökonomie. 1940. P. 24. Тот факт, что мы, как правило, стараемся объяснить с помощью нового принципа слишком многое, возможно, более нагляден в случае с отдельными научными доктринами, чем с Наукой как таковой. Закон всемирного тяготения и эволюция, принцип относительности и психоанализ — все переживало периоды явного

злоупотребления, распространяясь на те области, к которым эти открытия не имели отношения. В свете всего этого опыта неудивительно, что вся Наука находилась в подобном состоянии еще дольше и что его последствия имели еще большее значение.

2 Насколько мне известно, такая точка зрения была впервые четко сформулирована немецким физиком Г. Киршхофом в его “Лекциях по математической физике; механика” (*Kirchhoff G. Vorlesungen ber die mathematische Physik; Mechanik. 1874. P. 1*), а позже получила большую

известность благодаря философии Эрнста Маха.

³ Слово “объяснять” — это лишь один из многих важных примеров, когда естественные *науки* принуждены были использовать понятия, первоначально возникшие при описании гуманитарных явлений. “Закон” и “причина”, “функция” и “порядок”, “организм” и “организация” — вот другие, столь же важные, примеры того, как Наука более или менее преуспела в освобождении слов от антропоморфных коннотаций; в то же время другие примеры (в

частности, случай с
“целенаправленностью”) покажут
нам, что по отношению к некоторым
терминам она все еще не добилась в
этом успеха и, хотя не может
расстаться с ними окончательно, не
без оснований опасается ими
пользоваться.

⁴ См.: *Percy Nunn T. Antropomorphism and Physics // Proceedings of the British Academy. 1926. Vol. 13.*

⁵ *Stebbing L. S. Thinking to Some Purpose. Pelican Books, 1939. P. 107.*
См. также: *Russel B. The Scientific*

Outlook. 1931. P. 85.

⁶ Сравнение будет более точным, если предположить, что одновременно мы можем видеть лишь небольшие группы символов, скажем, отдельные слова, при том, что сами эти группы (слова или фразы) появляются перед нами в определенной временной последовательности — так, как это действительно происходит при чтении.

⁷ Давней загадки, каким чудом качества, прикрепленные, как

предполагается, к объектам, пересылаются в мозг в виде неразличимых нервных импульсов (разница состоит только в том, на какой орган они воздействуют), а затем преобразуются в мозгу обратно в первичные качества, попросту не существует. У нас нет свидетельств в пользу предположения, что объекты внешнего мира соотносятся между собой именно так, как сообщают нам наши чувства. На деле мы часто получаем свидетельства об обратном.

⁸ Можно, впрочем, заметить, что эта классификация, по-видимому,

опирается на предсознательные сведения о тех отношениях во внешнем мире, которые имеют особое значение для существования человеческого организма в той среде, в какой происходило его развитие, и что она тесно связана с бесчисленными “условными рефлексами”, приобретенными человеком в ходе его эволюции. Не исключено, что наша центральная нервная система классифицирует раздражители весьма “прагматично” в том смысле, что учитывает не все наблюдаемые отношения между внешними объектами, а выделяет только те отношения между внешним

миром (в узком смысле) и нашим телом, которые в ходе эволюции оказались существенными для выживания человека как вида. Так, человеческий мозг классифицирует внешние сигналы преимущественно по ассоциации с сигналами, поступающими при рефлекторной деятельности из различных частей человеческого тела, вызываемой этими же внешними раздражителями, но протекающей без участия головного мозга.

9 Утверждая, что разные люди классифицируют внешние сигналы “одинаково”, мы имеем в виду не то,

что отдельные чувственные качества одинаковы для разных людей (подобное заявление было бы бессмысленным), а то, что системы чувственных качеств у разных людей имеют общую структуру (являются гомеоморфными системами отношений).

3. Объективизм сциентистского подхода

¹ Частые попытки обойти эту трудность с помощью чисто иллюстративного перечисления

некоторых физических признаков, по которым мы относим объект к той или иной ментальной категории, только заслоняют суть. Объяснение, что под “сердитым человеком” мы понимаем человека, обнаруживающего определенные физические симптомы, мало что дает, если мы не можем составить исчерпывающий список всех симптомов, по которым мы узнаем и присутствие которых всегда означает, что человек, обнаруживающий их, сердит. Только если бы мы сумели это сделать, у нас появилось бы право сказать, что употребляя такое словосочетание, мы подразумеваем

не более чем определенные физические явления.

2 Это также может служить оправданием той якобы небрежности, с какой мы, перечисляя в иллюстративных целях ментальные сущности, все время сваливаем в одну кучу такие понятия, как “ощущения”, “восприятия”, “представления” и “идеи”. Ведь все эти ментальные сущности, пусть и разных типов, имеют то общее, что они суть классификации различных внешних сигналов (или комплексов таких сигналов). Сегодня подобное заявление, возможно, покажется

менее странным, чем оно выглядело бы лет 50 назад, поскольку теперь нам известно, какое звено находится между прежними “элементарными” чувственными качествами и понятиями, — это конфигурации, или Gestalt-качества. Можно, однако, добавить, что в таком свете далеко идущие онтологические выводы, которые делают из своих интересных наблюдений многие представители школы Gestalt-психологии, выглядят совершенно неоправданными; нет причины полагать, что воспринимаемые нами “целостности” — это действительные свойства внешнего

мира, а не просто приемы, с помощью которых наш мозг классифицирует комплексы сигналов; как и другие абстракции, отношения между частями, выделенными с помощью такого приема, могут оказаться существенными, а могут и нет.

Возможно, здесь следует также упомянуть о том, что у нас нет причины считать ценности единственным примером чисто ментальных категорий, отсутствующим в нашей картине физического мира. Хотя ценности по праву занимают центральное место

во всяком обсуждении целенаправленных действий, они определенно не являются единственным типом чисто ментальных категорий, которые нам приходится задействовать при интерпретации человеческой деятельности: есть по меньшей мере еще один очень важный для нас пример таких чисто ментальных категорий. Это — различение истинного и ложного.

³ И это, как мы уже видели, вовсе не означает, что машина всегда будет относить к одному классу только те элементы, которые имеют общие

свойства.

⁴ См. комментарий к этому Карла Менгера в отрывке, приведенном выше, гл. 4, примеч. 3.

Raison d'etre (*фр.*) — смысл.

⁵ Следует, вероятно, подчеркнуть, что использование математики в социальных науках необязательно сводится к попыткам измерения социальных явлений — как склонны думать некоторые люди, знакомые только с элементарной математикой. Математика (вероятно, и в

экономической теории тоже) бывает совершенно необходима для описания определенных типов сложных структурных отношений, хотя у нас, может быть, и нет шанса когда-либо узнать числовые значения конкретных величин (неудачно именуемых “константами”), фигурирующих в формулах, которые описывают эти структуры.

⁶ *Cohen M. R. Reason and Nature. P. 305.*

⁷ У Хогбена (*Hogben L. Lancelot Hogben's Dangerous Thoughts. 1939. P.*

99) читаем: “Изобилие — это когда высвобождаемая энергия превышает измеренную в калориях совокупную энергию, затрачиваемую людьми на удовлетворение всех человеческих потребностей”.

Фридрих фон Хайек

Опубликовано на сайте www.polit.ru